

Ю. Рюриков

Три влечения

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 159.9
ББК 88
Ю11

Ю11 **Ю. Рюриков**
Три влечения / Ю. Рюриков – М.: Книга по Требованию, 2012. – 206 с.

ISBN 978-5-458-37840-6

Книга Ю.Рюрикова "Три влечения" рассказывает о чувстве влечения и любви, особенностях человеческих взаимоотношений в XX веке, трагедии развода, верности и неверности.

ISBN 978-5-458-37840-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

★ самое загадочное ★ из чувств

Двое в неподвижном времени

Их сразу потянуло друг к другу — испанку Марию и американца Роберта Джордана, героев «По ком звонит колокол» Хемингуэя, одной из самых сильных книг XX века. Он — подрывник, его прислали в горы, к партизанам, чтобы он взорвал мост и отрезал дорогу франкистам. Она — юная девушка, почти ребенок; детски прямая и открытая, она говорит то, что думает, делает то, что говорит, и от ее мысли до слова и от слова до дела — кратчайшее расстояние.

Она яростно ненавидит фашистов — они расстреляли ее родных и изнасиловали ее. Она любит его открыто, с чистой и наивной беззащитностью, и очень естественно, искренно:

«— Я не могу поцеловать тебя. Я не умею.

— Совсем это и не нужно.

— Нет. Я хочу тебя целовать. Я хочу все делать.

— Совсем не нужно что-нибудь делать. Нам и так хорошо», — говорит Роберт Джордан.

Они разговаривают, лежа в спальном мешке, и в том, как они держат себя, видна светлая чистота их чувств — человеческих, гуманных, без всякой торопливости, без задыхающейся гонки к финалу. «Они лежали рядом, и все, что было защищено, стало незащищенным; где раньше была шершавая ткань, все стало гладко чудесной гладкостью, круглое, твердое, льнувшее и длинное, теплое, прохладное, прохладное снаружи и теплое внутри, длинное и легкое

и крепко прижавшееся, и крепко прижимаемое, жалобное, томящее болью, дарящее радость, молодое и любящее, и теперь уже все теплое и гладкое и полное щемящей, острой, жалобной тоски».

В этом гимне любви, от которого ханжи могли бы прийти в ужас, нет никакого эротизма — и никакого эгоизма. Роберт Джордан ни на секунду не перестает видеть в ней человека, и в ее молодом теле ощущает не только его прелесть, но и что-то жалобное, томящее болью, и тяга к ее телу не закрывает от него, что оно полно щемящей, острой, жалобной тоски. И встревоженный ее тоской, он спрашивает ее:

«— Ты уже любила кого-нибудь?

— Никогда.— Потом вдруг, сникнув как мертвая в его объятьях: — Но со мной делали нехорошее.

— Кто?

— Разные люди.

Теперь она лежала неподвижно, застывшая точно труп, отвернув голову.

— Теперь ты не захочешь меня любить...— сказала она, и голос у нее был тусклый, мертвый.— Ты меня не будешь любить».

И опять здесь — трогательная и жалкая незащищенность, и полное доверие к нему, и подслудное ощущение, что она может говорить все — ничего плохого ей не сделают. Ее искренность, открытость естественна для нее, это как вылившаяся из родника струйка, которая не может не нести все, что в нее попадает, — и воду, и землю, и соринки. И она говорит:

«— Когда со мной делали это, я дралась так, что ничего не видела. Я дралась, пока — пока один не сел мне на голову — а я его укусила — и тогда они заткнули мне рот и закинули руки за голову — а остальные делали со мной нехорошее».

Наверно, на месте Джордана напали бы люди, которые почувствовали бы себя уязвленными, стали бы брезгливо презирать ее. Но он не сделал ничего, что унизило бы ее перед ним, воздвигло бы между ними хоть секундный барьер душевного неравенства. С потрясающей человечностью — и естественно, без всякой логики, одним озарением чувств — откликнулся он на ее прекрасную повесть.

«— Я тебя люблю, Мария,— сказал он.— И никто ничего с тобой не делал. Тебя никто не смеет тронуть, и не может. Никто тебя не трогал, зайчонок».

Он не говорит ей обычных слов: ты не виновата, ты ничего не могла поделать... Слова эти были бы правдой — но правдой простой логики, правдой обычности, тривиальной и будничной. Слова Роберта Джордана — высочайшая правда озарения, правда парадокса, высшего взлета. И хотя очевидность против нее, хотя она говорит,

что правда эта — ложь, но его правда — это двойная правда, как часто бывает с правдой гуманизма, которая глубже, чем однолинейная правда логики.

И эта простая девочка верит Джордану и говорит — так же открыто и безыскусственно: «Если у нас с тобой будет все, может быть, станет так, как будто того, другого, не было».

И она спрашивает его:

«— А куда же нос? Я всегда про это думала, куда нос?

— Ты поверни голову, вот, — и тогда их губы сошлись тесно-тесно, и она лежала совсем близко к нему, и понемногу ее губы раскрылись, и вдруг, прижимая ее к себе, он почувствовал, что никогда еще не был так счастлив, так легко, любовно, ликующе счастлив, без мысли, без тревоги, без усталости... И она сказала испуганно: — Давай теперь сделаем скорей, что нужно, чтобы то все ушло».

Везде видна тут сложная симфония их любви, ее телесная прелесть и духовное богатство; и в слиянии, в силлаве того и другого — и только от этого слияния — есть большие и светлые человеческие ценности. Хемингуэю органически чуждо пуританство, любовь у него — настоящее и полнокровное чувство, Роберт и Мария переживают ее с невиданной силой, и история их любви — одна из самых ярких в мировом искусстве.

И в апогее любви, когда сила ее достигает предела, они испытывают поразительное чувство: «Время остановилось, и только они двое существовали в неподвижном времени, и земля под ними качнулась и поплыла».

Поплывшая земля — так, наверно, бывает только в сильнейшей любви. И тут нет никакой примитивной символики, хотя и есть ощущение, что любовь — в высших моментах своего взлета — делает людей и мир равными по своему масштабу. Чувство, что они двое парят в неподвижном времени, что они — частица всего, что есть в этом времени, непереводимо на язык логики, и, ощущая это чувство, они ощущают в то же время, что земля, которая качнулась и поплыла под ними, — это не Земля, а тот ее маленький и теплый кусочек, на котором они сейчас.

А потом он сказал, что когда он с нею, ему хочется умереть, так он ее любит.

«— Я каждый раз умираю, — сказала она. — А ты не умираешь?

— Нет. Почти. А ты чувствовала, как земля поплыла?

— Да, когда я умирала».

Их любовь — оазис в гремящем пелелище войны, и она дает им простые радости жизни, силу идти дальше. Она и обособляет их от всего мира — и соединяет с ним еще крепче. Она дает им сильнейшую — и странную — тягу к слиянию, к абсолютному тождеству.

Мария говорит ему: «Ты чувствуешь? Мое сердце — это твое сердце... У тебя нет своего сердца — это мое...»

И вот мост взорван — и все мосты взорваны, — и был бой, и Джордан лежит с переломанной ногой, и ему надо остаться и прикрывать отход, а другим — уходить. Проходят его последние минуты, и он прощается с Марией — прощается навсегда.

«— Сейчас ты уйдешь отсюда, зайчонок. Но и я уйду с тобой. Пока один из нас жив, до тех пор живы мы оба... Ты теперь — это и я тоже». И он повзгорит: «Теперь ты уйдешь, быстро и спокойно и далеко-далеко, и мы оба уйдем в тебе».

И это тоже — один из высочайших взлетов его любви. «Я — это ты», «я в тебе, а ты во мне», — такое чувство — очень важное свойство большой любви, и невероятный парадокс, который есть в этом чувстве, — это просто продолжение того их душевного слияния, того абсолютного тождества, которое дала им их любовь. И этот великий мираж, эта человечнейшая иллюзия, которая противна логике и которая, конечно, никогда и никак не может осуществиться, дает им испытать огромные по своему гуманизму чувства.

И когда Мария, которую силой уводили от него, закричала: «Роберто! Я хочу к тебе! Я хочу к тебе!» — он закричал ей: «Я с тобой! Я там, с тобой. Мы вместе. Ступай!»

И не оставшись с ней, он остался с ней, и остался с нами, и всегда останется — и с ней, и с нами, и с жизнью.

Кристаллизация

Каждую секунду каждый из нас чувствует на себе силу земного тяготения; но никто не знает, что такое тяготение и почему оно действует. Многие из нас любят или любили, многие испытали это особое тяготение между людьми, но мы до сих пор не знаем многих его загадок.

Почему вдруг люди начинают чувствовать острую тягу к другому человеку? Почему мир как бы раскалывается на две части: она — и все, что не она? Почему именно этого человека ты хочешь видеть, должен видеть, не можешь не видеть?

Две тысячи лет назад римский поэт Тибулл говорил, что любовь — «сладчайшая тайна». В XIV веке Хафиз писал о любви:

Среди всего, что сотворил из ничего творец миров,
Мгновенье есть; в чем суть его — никто доселе не постиг.

Пять веков спустя Гейне назвал любовь сфинксом, тысячелетней загадкой. Загадкой была любовь и для Блока, и это ощущение было у него таким сильным, как ни у кого больше. Все в ней для

него невинно и таинственно, все окружено мерцающей дымкой, как будто на глазах поэта — пелена эмоций, тоненький слой влаги, сквозь который вещи кажутся смутными, окутанными мглистым ореолом.

Это ощущение любви, как тайны, было особенно ярким в начале нашего века. В человеческом самосознании начинался тогда резкий скачок, искусство ушло в новые глубины человеческой психологии, и эта психология предстала перед ним как вещь поразительно сложная, полная тончайших сплетений и загадок.

Герой «Мягиной любви» Бунина переживает нелегкие, запутанные ощущения. «Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще — любовь? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова».

Любовь резко переменяла все его отношение к людям, к вещам, к миру, и все перед ним встало вдруг в новом свете. Странное чувство все больше утверждалось в нем. Ему казалось, что весь мир плывет, как в зыбком мираже, и все в нем колеблется, обволокнутое каким-то знойным маревом. Вещи теряют свой четкий очерк, в каждой из них теперь как будто появляется своя душа, живет еще что-то сверх нее самой.

Это что-то, эта душа, которая в них живет и одухотворяет все в них, — это его любовь к Кате. Она присутствует в каждом листе, в каждом крике птицы, в каждом комке земли... Тысячи нитей как бы свились между ним и миром, и весь этот мир таинственно вобрала, втянула в себя любовь, обволокла все в нем и всего его. Он увидел, что Катя — везде, и ощутил, что его любовь — не просто чувство к Кате, и не только любовь, но и еще что-то — многое и непонятное.

Что такое этот «эффект присутствия»? Почему он есть во всякой очень сильной любви? Почему любовь пропитывает собой другие чувства и ощущения человека? Почему Данте мог чувствовать, что

Повсюду взор ее мой взор встречает,
И как цветок венчает
Свой стебель, так венчает мысль мою.

Для Блока Прекрасная Дама была не только женственностью, не только любовью. В ней слилось для него и счастье, и добро, и справедливость, и родина, и человечность... Весь мир соединился для него в любви, она воплощала и замещала собой все на земле.

Может быть, он чувствовал это потому, что любовь — это не только любовь, а еще и свобода, и истина, и красота, и добро, и справедливость? И когда человек любит, он не только любит, — он обре-

тает какую-то свободу, добывает какую-то красоту, творит какое-то добро, постигает какую-то истину? Может быть, невидимыми нитями любовь связана со всеми этими благами, вмещает их в себе и сама входит в них?

В нас глубоко сидят представления старой психологии, и мы привыкли думать, что мир чувств человека, как апельсин из долек, состоит из отдельных чувств, обособленных друг от друга. А так ли это? Ну, например, страх, что это — особое, отдельное чувство, как это считается в обиходе?

Психологи говорят «нет». Страх — это искажение, паралич всех чувств человека, его воли, сознания; это не отдельное чувство в ряду других чувств, а как бы особое состояние всего организма.

Может быть, то же и с любовью? Может быть, любовь — не просто чувство в ряду других чувств, а особое состояние всех чувств человека, особое состояние всего его существа? Может быть, это перестройка всей человеческой психики, переворот во всех его мыслях, ощущениях, во всей жизни?

...Константин Левин влюбился в Кити и вдруг увидел, что он стал абсолютно другим, незнакомым себе. «Для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти девушки имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого».

Такие же чувства испытывает и Андрей Болконский, влюбленный в Наташу. «Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она, и там всё счастье, надежда, свет; другая половина — всё, где ее нет, там всё уныние и пустота».

Это совершенно новое и непонятное отношение к миру, какие-то парадоксальные внутренние весы, на которых одинаково весит один человек — и весь земной шар, одно существо — и все человечество. Любовь действует здесь как огромное увеличительное стекло, которое резко меняет зрение человека. Она выбирает из массы людей одного человека, рывком приближает его и гигантски увеличивает его значение. Теперь один он равен миллионам людей, один занимает в душе столько места, сколько остальные миллионы.

Но почему так бывает, откуда берутся такие ощущения? Ответить на это можно, наверно, только приблизительно, сравнением. Все мы знаем, что, когда человеку смертельно хочется есть, другие его ощущения гаснут и чувство голода гигантски вырастает, заслоняет собой весь мир. Любовь — тоже голод по человеку, чувство невероятной внутренней необходимости в нем. Это, может быть, самая сильная из всех эмоциональных потребностей, и чем сильнее ее накал, тем больше места занимает в душе любимый человек.

Любовь издавна считалась самым сложным из человеческих чувств — и не только потому, что с ней прямо связана тайна жизни. Иногда непонятно даже, кого мы любим — самого человека или его образ, сфантазированный нами.

Вспомним хотя бы полузабытую сейчас стендалевскую теорию кристаллизации.

В своем трактате «О любви» Стендаль писал: если в соляных конях оставить на два-три месяца простую ветку, она вся покроется кристаллами, и никто не узнает в этом блистающем чуде прежнюю ветку. То же, говорит он, происходит и в любви, когда любимого человека украшают, как кристаллами, тысячью совершенств.

Кристаллизация, как выражался Стендаль, это «сущность безумия, именуемого любовью, безумия, которое все же доставляет человеку величайшее наслаждение». «Полюбив, — писал он, — самый разумный человек не видит больше ни одного предмета таким, каков он на самом деле... Женщина, большей частью заурядная, становится неузнаваемой и превращается в исключительное существо». Стендаль даже говорит, что «в любви мы наслаждаемся лишь иллюзией, порождаемой нами самими».

Это, наверно, крайность, и вряд ли стоит считать всякую любовь чувством Дон-Кихота, которому грязная скотница казалась прекрасной принцессой. Но разве не верно, что чувство любви чуть ли не наполовину соткано из нитей фантазии? Конечно, у разных людей накал фантазии неодинаков, у одних она больше, у других — меньше. Наверно, бывают и люди, в любви которых ее почти нет или совсем нет. Но кристаллизация, о которой говорил Стендаль, очень часто дорисовывает облик любимого человека, украшает его и тем самым увеличивает любовь к нему.

↓ Давно говорят, что любовь — это чувство к человеку, в котором сильнее других воплощен твой идеал. Макс Нордау, немецкий философ прошлого века, писал об этом: «Чем низменнее и проще идеал, тем легче индивид находит его воплощение. Потому-то пошлые ординарные люди могут легко влюбиться и заменять один предмет любви другим, меж тем как утонченным и сложным натурам трудно встретить свой идеал или заменить его другим в случае утраты».

В том, что здесь сказано, есть много правды, но вряд ли верно делать любовь одной только тягой к идеалу, — она сложнее. Конечно, сложным натурам куда труднее в любви, чем простым. Но зато любить «пошлым и ординарным людям», может быть, труднее, — для этого у них не хватает глубины души. Все мы знаем, что одно дело любовь, на которую способны не все, и другое — влечение, доступное любому человеку. И вряд ли стоит искать тут общие каноны и жесткие правила.

В юности часто спрашивают: любят ли человека за недостатки? Можно ли любить в человеке не только его хорошие, но и плохие стороны?

Прямолинейные моралисты думают, что любовь — это влечение только к тому хорошему, что есть в человеке. Дело доходит до того, что кое в каких этических трудах последнего времени целые главы отведены научным рассуждениям на тему, кто «достоин» любви и «кого» и «за что» «следует» любить, а «кого» и «за что» «не следует». (Впрочем, подробнее об этом — позже.) Но все мы знаем, что человек не разграфлен на черные и белые клеточки, душевные свойства его сложны, они незаметно переходят друг в друга, и часто бывает трудно разделить его на части, от сих до сих — достойные любви, а от сих до сих — не достойные.

Впрочем, даже и задавать такой вопрос — любят ли в человеке только достоинства или и недостатки — вряд ли верно. Людей, как все знают, любят за их реальные — этико-психологические и физические — свойства, а среди них нет таких, которые называются «достоинство» или «недостаток». Достоинства и недостатки — это абстракции, это моральная оценка каких-то конкретных человеческих свойств. Конечно, эти оценки влияют на любовь, усиливают, ослабляют, а то и убивают ее, но любовь часто не подчиняется им, и, ослепляя человека своим сиянием, мешает ему видеть пятна на своем солнце. Недаром в одном из мифов о Купидоне говорится, что он стрелял не целясь, с завязанными глазами. Поязка мешала ему увидеть, в кого попадает стрела, и любовь, которую он внушал, была слепой.

Конечно, общих правил тут нет, все зависит от людей, и часто люди совсем не идеализируют своих любимых: такой, например, часто выглядит любовь древних греков и римлян. И в новые времена такая любовь встречается в искусстве — например, у Шекспира, который бунтарски восставал против идеализации.

Он шел против канонов во всем — начиная с женской красоты. Идеалом этой красоты были тогда белокурые волосы и бледное лицо, и Шекспир демонстративно провозглашал:

Клянусь до слез, что темный цвет лица
И черный цвет волос твоих прекрасен.

Он утверждает земную любовь, реальную, настоящую, и поэтому он весь настроен против всяких идеализирующих сравнений:

Ее глаза на звезды непохожи,
Нельзя уста кораллами назвать.
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

Его прекрасная дама — смуглая дама сонетов — насквозь земная женщина. Шекспир беспощадно видит в ней все, что в ней есть хорошего и плохого.

Мои глаза в тебя не влюблены,
Они твои пороки видят ясно.
А сердце ни одной твоей вины
Не видит и с глазами не согласно.

У Купидона нет здесь повязки на глазах, любовь не отводит глаз от того, что ей невыгодно видеть, — это чувство сильного человека, открытыми глазами глядящего на мир.

Конечно, и эту любовь нельзя делать общим правилом: в ней есть то, что похоже на любовь других людей, и то, что непохоже на нее. Но такое отношение к любви, судя по литературе, не редкость: оно встречается и во времена Возрождения, Просвещения, и у Аполлинера, и у Золя, и у Хемингуэя, и у многих других писателей XX века. Но, пожалуй, чаще — особенно в прошлые века — встречается в искусстве утопическая, идеализирующая любовь. Когда-то Гегель говорил о любви, как о религии сердца, и тут, наверно, схвачена важная психологическая истина: в любви, как и в вере, тоже есть обожествление, тоже есть самоотказ, тоже есть иллюзия.

Любовь — утопия

Есть в ней и свое, особое отношение к миру.

Когда Пьер Безухов полюбил Наташу, в нем тут же появилось это особое отношение. «Он без малейшего усилия, сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви». «Может быть, — думал он, — я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проникательнее, чем когда-нибудь, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив».

В этих словах явно есть парадокс, — особенно если вспомнить старую истину, что любовь оглушает человека. Толстой говорит, что любовь делает человека умнее, что безумие влюбленного — это естественное, нормальное отношение к жизни, и оно кажется безумием только потому, что в жизни царят неестественные нормы.

Конечно, такое отношение к людям обманчиво и утопично, оно ухватывает в людях только одну их сторону, украшает их. Но может быть, тут есть и какие-то общечеловеческие ценности? Недаром ведь маленькие дети наивно верят в человеческое совершенство, недаром любая слабость любимого человека поражает их, как го-

рестный удар. Для нас этот наивный утопизм — только признак детской незрелости, который исчезает с годами. Но не просвечивает ли здесь какое-то очень важное свойство человеческой природы, которому жизнь не дает развиваться и которое гаснет чересчур рано? И нельзя ли предположить, что если сбудутся человеческие утопии, то этот утопический взгляд в чем-то утратит свою утопичность?

Человек, который любит, видит в жизни куда больше красоты, чем тот, кто не любит. Возникает как бы особая эстетика любви. Серый плащ привычности спадает с вещей и открывает их сокровенную прелесть, которая недоступна простому взгляду, не увлажненному влагой восторга, счастья, любви.

Эта пелена счастья как бы задерживает тусклые лучи привычности, она меняет глаз человека, делает его поразительно чутким к красоте. Восприятие это, видимо, несет в себе тягу человека к жизни, которая строится на законах красоты, свободы, добра. И очень важно, что это тяга не просто разума, а и безотчетных чувств человека, его ощущений. Значит, миру этих чувств больше всего соответствует гармонический уклад жизни, и сама естественная природа человека бессознательно тянется к такому укладу.

Еще во времена античности появился эвдемонизм (от греческого слова «счастье»), учение о том, что тяга к счастью — это главная основа человеческих желаний. Эвдемонизм — одно из самых древних этических учений, его исповедовал Эпикур, развивал Аристотель, в новые времена оно жило у Локка, Гельвеция, у Фейербаха.

«Стремление к счастью — это стремление стремлений, — писал Фейербах. — Каждое стремление — это безымянное стремление к счастью», любое «я хочу» значит «я хочу счастья»¹. «Эвдемонизм настолько врожден человеку, что мы совсем не можем мыслить и говорить, не пользуясь им»².

Правда, основы морали эвдемонизм ищет в психологии человека, а не в социальной жизни. Но какие-то очень важные механизмы человеческой психологии схвачены здесь хорошо. Речь идет о внутренних стимулах поведения, о психологических пружинах, движущих человеком. Нынешние кибернетики назвали бы это стремление к счастью стремлением к гомеостазису — к равновесию, гармонии.

Тяга к идеалу — родовое стремление человека, естественное, заложенное в самой его общественной природе. Эта тяга появилась в людях, когда они начали делаться людьми, и чем сильнее она ста-

¹ Л. Фейербах, Избранные философские произведения в 2-х томах, т. 1, М., 1955, стр. 460, 579.

² Там же, стр. 590.